

50 УДАРОВ В МИНУТУ. ГОРОД ЖИВОЙ



АЛИНДА ИВЛЕВА
Прозаин, редактор. Родилась в г. Ленинграде, живет в Ленинградской области. По образованию психолог. Довелось работать милиционером-нинологом, бухгалтером, тренером по легкой атлетике. Автор двух сборников рассказов.

Выпускница литературных курсов «Мастер текста» («Астрель-СПб») и школы BAND («Острый сюжет», «Редантура и стилистика»). Лауреат nonnурса исторических рассказов журнала «Москва» (2024), многократный дипломант литературных nonnурсов.

– Роза, слезь с подоконника, немедленно! Метель за окном, опять всю комнату закоптит! Бабушка Циля кашляет! – Голос женщины надорванной струной зашелестел и превратился в неразборчивый шепот. Ее синюшная рука безвольно выпала из-под кучи тряпья, укрывающего едва заметные очертания плоской фигурки на тахте.

– Мамулечка, только не засыпай, он жив! Жив! Я слышу! Баба Циля говорила, если услышу снова, как сердечко бьется у города, значит, он дышит! – Существо, замотанное в несколько пуховых платков, поеденных молью, с чумазым от копоти буржуйки лицом, снова прильнуло к заколоченному досками окну. – Стучи-и-ит! – колокольчиком восторженно пропела девочка.

Осторожно слезла на стул, медленно спустила один валенок на бетон, затем второй. Закачалась. Но валенки умершего накануне соседа, деда Яши, удержали ее. Девочка доковыляла к буржуйке, открыла заслонку и, тяжело вздохнув, бросила последний лист из маминых нот. Прислонила прозрачные руки к теплому ватнику, который сушился на единственном источнике тепла в огромной комнате.

Жестяной дракон чадил, извергал копоть, черный дым, который забивал нос, глаза. И усыплял. Роза медленно сомкнула веки. Провалилась в волшебную спасительную дрему. Метроном успокоительно от-

считывал пятьдесят ударов в минуту. Артобстрелов пока не будет. Радиоточка цела, значит, город не сломен, жив. Бабушка Циля давно уже не шевелилась. Но мама постоянно говорила о ней как о живой. Однажды Роза дотронулась до старушки и отпрянула. Холод чувствовался через одежду, словно прикоснулась к застывшей неводской воде в ведре, которую не успели растопить. За ночь в алюминиевых кадках она покрывалась ледяной корочкой с узорами рек и лесов. Иногда Роза в ведре видела ангелов. Девочка вскрикнула, но не заплакала. Семилетней малышке не нужно было пояснять, что случилось со старушкой. Мама прошипела:

– Тсс. Ни одна живая душа знать не должна, что баба Циля не шевелится, так у нас будет еще одна карточка. И хлеб.

Роза вспомнила ее сильный голос, когда зывала учеников на уроках географии к доске, а она, притаившись за последней партой, представляла далекие горы, океаны и пальмы с финиками. Девочка снова провалилась в сон, ей снилась белая круглобокая буханка. Даже во сне рот сразу наполнялся слюной. Даже во сне явственно, до тошноты, ощущался горький вкус, будто из сажи пополам с глиной, вязкого блокадного хлеба.

Неожиданно в квартиру на Лиговке, в полуразрушенном доме в центре непокорного Ленинграда,

ворвался холод. Деревянная покосившаяся дверь, державшаяся на одной петле, скрипнула. Обдало морозным воздухом из расщелины после взрыва бомбы, раскурочившей часть фасадной стены. Лестничный пролет сражался за жизнь, повиснув на нескольких прутьях арматуры. Раскачивался и натужно гудел. Лека, как мартышка, зацепился за дверной косяк и запрыгнул в комнату, привычно перепрыгнув зияющую дыру при входе.

– Лека! – Девчушка мысленно протянула руки-веточки к брату. Но сил шевельнуться не было. Она не ела два дня.

Лека расплылся в довольной улыбке. Скинул мешок из рогожи с костлявых плеч, который глухо стукнулся о бетонный пол. Дубовый паркет был поглошен буржуйкой в первые морозы. Гордо выудил лошадиное копыто и плитку столярного клея. Из-за пазухи вытащил несколько обглоданных кусков рафинада.

– На Бадаевских развалинах были с Мишкой! Повезло, лошадь дворника возле складов крякнулась. Налетели доходяги со всей Киевской, кто с молотком, кто с пилой. Обглодали за двадцать минут. Я вот копыто урвал. Мама студня наварит из клея. А ногу эту на неделю растянем. – Лека потормошил маму. Она что-то прошелестела бесцветными губами-полосками. Сын заботливо укрыл мать с головой. – Спи-спи, набирайся сил, сам сварю еды, и кровь пойду сдавать завтра, дадут двести пятьдесят хлеба. У меня первая, универсальная, я счастливчик. – Тринадцатилетний паренек, маленький мужичок, отколол кусок льда из ведра ошметком «зажигалки» и растопил в котелке на пыхтящей, угасающей буржуйке. Развел клей, бросил лавровый листик и стал деловито помешивать все тем же осколком смерти.

Зимой 1942-го ртуть на градуснике убежала вниз почти до конца шкалы. Повезло, что Лека от рождения вынослив и силен. Ведь теперь он единственный, кто отвечал за женщин своей семьи, пока отец убивал на фронте немцев. Мальчишка таскал воду из Невы на санках. Рубил и колот нечистоты, которые росли, как пирамида Хеопса, до второго этажа, затем помогал дворнику: волочил на тощих плечах в грузовик смердящие ледяные глыбы и трупы тех, замерзших, которым не хватило сил от голода дойти до дома. Тех, кого не отличили от мертвых. Так паренек зарабатывал на прокорм для домочадцев.

В ту ночь снова пришел дядя Гена. Он на брони. От института. Говорил детям, что друг отца.

«Врал наверняка, не может быть у отца таких друзей», – размышлял Лешка, делая вид, что спит, отодвигаясь от трупа бабы Цици.

«Хорошо, что еще не воняет она. На полу спать совсем невозможно». Из полудремы вырвали обрывки фраз:

– Тут сахар, кило муки, две банки тушенки, я вас подниму на ноги. Переезжай ко мне. Детей переправлю на Большую землю.

– Не начинай, Гена, я жду мужа! – устало шептала женщина.

– Да сдохнете здесь, он там, в тылу, небось в карты режется и водку пьет. Воюет он, писарь энкавэдэшный, ха-ха. Уверен, что и семью завел вместе с доппайком, и как зовут вас, забыл. Война. Очнись, Вера! – Толстый лошенин хряк лобызал сухую, потрескавшуюся кожу на соленых от слез щеках измученной женщины.

А Леку выворачивало наизнанку от этих звуков. Он с досады все больше вцеплялся в кости бабы Цици.

Через две недели Лека узнал от дворника, что НИИ разбомбили. Вместе с противным Геней. Когда матери стало хуже и она больше не вставала, заботливый сын пытался добудиться несчастной. Раскрыл ватное одеяло, и в нос ударил невыносимый гнилостный запах. Голая нога женщины почернела и скукожилась, как трухлявый пенек, вся икра и бедро покрылись дырами, словно воронками от взрывов бомб на Невском. Подросток догадался – вот откуда лечебный суп для Розочки, которая уже месяц боролась с воспалением легких. Мама умерла.

Съели всех котов и крыс в округе. Все чаще и ближе визжали фугасы и выли сирены, будто голодные гиены. Лека перетаскивал Розу в подвал соседнего дома. Стена, где находилась их комната, треснула. Щели законопатить было уже нечем. Тахта и диван были сожраны ненасытной буржуйкой. Огонь поглотил все книги из отцовской библиотеки. Только один Изумруд снова и снова прибегал к финишу первым. Каждый вечер перед сном «фальшивый рысак» побеждал фашистов, хищных и алчных, преодолевая боль и подлость. Купринский конь бежал что есть сил, уносясь прочь от войны: «Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их.

Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!» И каждый вечер, когда Лека переворачивал последнюю уцелевшую пятнадцатую страницу, Роза спрашивала:

– А ромашки еще вырастут?

– Вырастут. – Лека так и не признался сестренке, что на шестнадцатой фашистские сволочи отравили коня.

Когда бомбежки утихали, парнишка вылезал в разведку. Воровал на блошином рынке у зазевавшихся артисток, пришедших обменять остатки золотых украшений на муку и крупу, все, что находил в карманах.

Однажды, почти без сил, он тащился в подвал. Там угасала Роза. Детский писк, будто мышинный, выдернул его из бесконечного оцепенения. На санках лежал круглый шерстяной сверток. Рядом, в сугробе, раскинув руки, как павшая лебедушка крылья, лежала девушка. Уже успела окоченеть. Чудом малыш выжил. Лека прижал ребенка к себе. И ускорил шаг, как мог. Втроем, согревая друг друга телами, они спали несколько ночей в промозглом обледеневшем подвале. Пока их не обнаружили дружинники.

Привезли детей в больницу. Отходили. Малыша Роза и Лешка назвали Русланом, как в сказке Пушкина. Вырастет, будет великим витязем. В опеке назвались родными братьями и сестрой.

– На бусурмана похож ваш брат, – буркнула краснолицая тетка в тулупе из опеки, – а вы беленькие.

– Он в папу, – нашлась Роза. – А бабушка наша вообще Циля была. Хоть и не родная.

Лека толкнул ее в бок локтем.

– Евреи, что ли? – скривила тонкие губы тетка с презрением.

– А если и так? Что? – набычился и вышел вперед Лешка, закрыв спиной сестру, прижимающую слабыми дрожащими ручонками к себе малыша.

Судьба смилостивилась над детьми. Весной их с детским домом эвакуировали по Ладоге. Розе долгие годы после снился плавающий плюшевый медведь в кровавой воде, а Лека так и не научился плавать – воды боялся. Потом в теплушках переправили до Краснодарского края, под бомбежками. Фашисты наступали, обозы с умирающими детьми двинулись на Кавказ. Тогда высокогорное черкесское село распахнуло спасительные объятия для тридцати пяти детей. Не каждая семья

решилась взять детей к себе, немцы наступали, наши войска спешно отходили. Аул ждала оккупация и голод. Мелеч Патова склонилась над троицей, лежавшей на телеге рядом с другими, такими же опухшими и молчаливыми. Женщина удивилась – никто не плакал, даже младенец. Малыша и девочку обнимал мальчонка.

– Было у меня в доме две папахи, в пустую могилу их положила. Не вернулись мои сыновья с проклятой войны. Теперь украсят нашу саклю платок и пара шапок.

Адыгская семья дала свою фамилию и любовь ленинградским детям. Растили как родных. Алексей стал Асланом – Лев в переводе. Приемный отец так и называл сына: «Лев мой». Родной даже не искал детей, решили – пропал без вести.

Розэ, с адыгского Роза, стала врачом и уехала в город. Аслан после войны поступил в летное военное училище. Руслан остался с родителями в селе, занялся хозяйством.

Заехала как-то Розэ проведать родителей. Увидела на трюмо письмо. Мать, забыв про больные ноги, подскочила, выхватила и прижала к сердцу конверт. Заплакала.

– Бросите теперь меня, уедете?

– Мамочка, что ты? – Розэ обняла седую женщину за плечи.

Мелеч протянула послание. Розэ быстро пробежала глазами адрес. Незнакомый.

– Прочтешь? Хотя догадываюсь уже... это не первое. Приезжала она. Расфуфыренная такая, важная.

– Да кто – она, мама?

– Читай, говорю.

Девушка развернула потрепанный лист, исписанный размашистым почерком: «Дети. Не судите строго. Была война. Связался с женщиной. Генеральской дочкой. Место хорошее дали, перспективное. Думал, заберу вас, так руки повязаны были. Грозилась лагерями, и трибуналом. Слабак ваш отец. Если вы читаете письмо – я уже умер, с камнем на сердце. Теперь у вас есть большой дом у моря и сестра. Это мое наследство».

Дочь поднесла руку матери к губам. Приложила медленно ее узловатые натруженные пальцы к своей груди.

– Ангел мой, не зря тебя так родители называли.